



# ИРИНА МУРАВЬЁВА

К несомненным достоинствам прозы И. Муравьёвой следует отнести хороший язык – явление, столь редкое в произведениях современных русскоязычных авторов. Это не только проза филолога, но это ещё и проза поэта...

*«Литературная Россия»*

## ДНЕВНИК НАТАЛЬИ

# Ирина Лазаревна Муравьева

## Дневник Натальи

*Текст предоставлен издательством «Эксмо»*  
*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=176993](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=176993)*

*Жена из Таиланда: Эксмо; М.; 2009*

*ISBN 978-5-699-32616-7*

# Содержание

\* \* \*

Конец ознакомительного фрагмента.

4

34

# Ирина Муравьева

## Дневник Натальи

\* \* \*

**15 апреля.** Нюра не ночевала дома и пришла в три. Выглядит ужасно: с черными мешками под глазами, измученная. Я смотрю на нее и думаю: что делать? Попробовать опять поговорить с ней? Но сколько можно разговаривать? Она ведь меня не слышит. Никто меня не слышит, кроме Тролля. Иногда приходит в голову, что, не будь на свете Тролля, я была бы ничем не связана. А так – нельзя, он без меня погибнет. Зимой – никогда не забуду – я шла по Смоленской и увидела такое, от чего во мне вся кровь остановилась: свора собак, совершенно одичавших, загнала под машину кошку. Окружили эту машину и сидят. Ждут, пока кошка не выдержит. Минут через пятнадцать кошка выползла – наверное, очень старая, больная, ей уже было все равно. Собаки набросились на нее и разорвали. Люди, которые шли мимо, все отвернулись, никто даже не приостановился, кроме меня.

Троль – мое счастье, мое тепло. Как он вылизывает мне лицо и руки и мои старые ноги, ужасные старые ноги в тапках!

Может быть, кстати, с ног-то все и началось. В прошлом году мы с Феликсом собрались на дачу к Щ., которого я никогда не любила, но ради Феликса терпела, хотя мне давно казалось, что он шпана, обыкновенная номенклатурная шпана, несмотря на свою знаменитость. И пьесы, которые он пишет, – отвратительное вранье. Возвышенные дамочки в белых шляпах попадают в сомнительные ситуации. Причем за границей, чаще всего в Италии.

Я, наверное, завидую. Иногда я ловлю себя на мысли, что я завидую очень многим: молодым и красивым женщинам, которые проходят мимо по улице, подругам, уехавшим в Америку, завидую умершим...

Мы сели в машину, чтобы ехать к Щ., и вдруг Феликс увидел мои ноги в сиреневых босоножках. Он сморщился, словно проглотил комара, и спросил:

– Скажи, пожалуйста, это что, такая проблема – сделать педикюр?

Я взглянула на себя его глазами. На всю себя – как говорил поэт, «от гребенок до ног». И ужаснулась. Потому что: волосы сухие, вытравленные перекисью, стрижка плохая, шея – в перетяжках, как у гуся, под глазами – лодочки из сморщенной кожи, руки неухоженные. Я увидела старуху, легко раздражающуюся, с плотно сжатыми губами, тускло одетую, молчаливую (о чем говорить-то?), и поняла, что между нами все кончено. Я поняла, что он уже никогда не заметит ничего другого и всегда будет только это: шея, волосы, руки...

Я вылезла из машины, хлопнула дверью. И он быстро отъехал – словно бы с облегчением, словно боясь, чтобы я не передумала.

Мы давно живем молча, каждый сам по себе. У него – своя жизнь, у меня – своя. Существоваем параллельно. Но когда меня уволили из института, оказалось, что у меня нет никакой своей жизни. Совсем никакой. Мне некуда стало уходить по утрам и неоткуда возвращаться вечером. Нюра явно тяготится тем, что я сижу дома и мешаю ей заниматься живописью (считается, что она у нас большая художница, вся в папочку!). Кроме того, я позволяю себе переживать за нее. Я переживаю, что она бросила институт, нигде не работает (так, случайные заказы: где рекламу подмалюет, где еще что), переживаю, что у нее божемные и непонятные мне знакомства, что она меняет любовников и часто не ночует дома. Мне все кажется, что ее вот-вот обидят, изуродуют или даже убьют, и часто я часами простаиваю у окна, высматривая ее, когда наступает вечер.

Иногда на меня находят такие острые приступы любви к ней, что впору повеситься, лишь бы не видеть ее отравленного неудачами лица, не принюхиваться к табачному дыму, плывущему из нашей «детской».

Непонятно, кстати, вот что: почему сегодня, пятнадцатого апреля, я вдруг принялась записывать свою жизнь? Тоска, конечно...

Феликс встал часов в одиннадцать, наскоро выпил кофе и,

не глядя на меня, сказал, что уходит на весь день в мастерскую. Я вывела Тролля, сходила в магазин, купила йогурт, хлеб и кислую капусту, сварила суп, и тут раздался звонок. Очень красивый грудной голос спросил Феликса. Я ответила, что его нет, но почему-то у меня заколотилось сердце, и я страшно разволновалась. Красивый голос усмехнулся, и в этой усмешке мне почудилось презрение. Тогда я сказала:

– Передать ему что-нибудь?

Вместо ответа она опять усмехнулась – еще презрительнее, но все же очень красиво, музыкально – и повесила трубку. Я набрала номер мастерской, но его там не было, длинные гудки. Я подождала минут двадцать, выпила валерьянки и опять набрала. Он подошел и закричал:

– Алло! Слушаю! Да!

Я помолчала от растерянности (никогда он так не кричит!) и говорю:

– Тебе тут какая-то женщина звонила...

– Да? – спросил он радостно. – Когда звонила?

– Только что, – спокойно сказала я. – Но ничего не просила передать...

Он, видно, справился со своей радостью:

– Ну, так что?..

– Ты собираешься домой? – спросила я.

– Я работаю, – сказал он со злобой. – Ты, наверное, забыла, что это такое?

Намеки! Он все время напоминает мне о моем безделье,

все время говорит о том, что один все тянет. Как будто я виновата, что наш отдел закрыли и меня выставили на улицу! Как будто я виновата! И ведь он не только меня попрекает – прямо скажем – куском хлеба! Он все время ноет, что работает как лошадь, ни от чего не отказывается, хватается за все халтуры, чтобы нас прокормить, – он, великий театральный художник! А мы, неблагодарные, ничего не понимаем, загоняем его в могилу. И квартира, в которой мы живем, принадлежала его покойной матери, балерине Большого театра, она на свои деньги построила этот кооператив. А я (будь я разумной!) должна бы сдать дачу, доставшуюся мне от отца и деда. Дворянских гнезд больше не существует. Раз нужны деньги, значит, нечего хлюпать, а надо найти жильцов и сдать дачу. Это он так говорит, а я отмалчиваюсь. Дача формально принадлежит мне.

Сегодня я поняла, что он не просто изменяет, – а то я не догадывалась, что он мне изменяет! – сегодня я поняла, что он влюблен в кого-то, мучается, надеется, короче – у него открылось второе дыхание и моя песенка спета.

Нюра поела на кухне – тарелку не вымыла, спасибо не сказала, – заперлась в своей комнате и затихла. Я постояла у ее двери, прислушиваясь. Кажется, она рыдала в подушку, но, наверное, зажимала рот руками, потому что я различила только сдавленные «а-а-а», больше ничего.

Итак, у меня есть муж и дочь. Муж мой на старости лет влюбился, он при деле и ему не до меня. Дочь моя то ли не

может влюбиться и рыдает в подушку, что приходится спать с кем попало (а как же иначе – гормоны!), то ли кто-то не отвечает ей взаимностью, и она от этого бесится. Но оба они – и муж, и дочь – живут, они живые, с ними что-то происходит, а я мешаюсь под ногами и ни одному из них не нужна. Я – мертвая.

У них заговор против меня. Заговор живых против мертвой, людей против тени. Между собой они перекидываются шуточками, Нюра целует отца в щеку, он ей показывает свои эскизы, и все это – мимо меня! Без меня! Поди прочь, тень! Старая, со старыми ногами.

Я ложусь спать, уже девять. С Троллем мы погуляли. Днем было тепло, а сейчас пошел редкий снег. Хорошо, пусть. Снег – пятнадцатого апреля, светопреставление.

Сердце колотится – того гляди выпрыгнет. Нюра из своей комнаты не выходит. Двенадцать часов ночи. Грохнула дверь лифта. Это Феликс.

**16 апреля.** Господи, прости меня. Прости, пожалуйста. Знаю, что все это заслуживаю, знаю. Сколько на мне всего!

Я всегда была скверной. С самого детства. Думаю, что это впервые обнаружилось тогда, когда из провинции приехала моя бабушка, мать отца. Дряхлая, почти слепая. В молодости была, как говорили, красавицей. И в старости красоты не утратила, несмотря на дряхлость. Лицо – сморщенное, крошечное, а нос и рот – кукольные. И глаза – хоть слепые – нежного голубого цвета, как завядшие незабудки. Эта несчаст-

ная бабушка, которую я едва знала, очень хотела остаться у нас и жить с нами – с моим отцом и со мной. Была еще горбатая домработница Таня, растившая меня после маминной смерти, но она не в счет. В провинции у приехавшей к нам бабушки была дочь, опереточная актриса, муж этой актрисы, полный идиот, трое одичавших внуков, толпы крикливых гостей, короче – никакого покоя. Дочь приносила с базара только что зарезанных кур в окровавленных перьях и говорила матери: «Ощипи и приготовь». Та ощипывала и варила. Ей, бедной, хотелось приютиться у сына в московской квартирке и дожить здесь, в райской тишине, остаток дней. Отец не мог ей отказать, но – и я это сразу учуяла! – ему было бы гораздо легче, если бы она уехала к себе в провинцию. Мужчине, одному воспитывающему девочку, перегруженному работой, страдающему бессонницей, взвалить на себя старую больную мать, выделить ей отдельную комнату, а самому перейти в мою детскую (Таня спала в кухне на кушетке) и не иметь ни минуты покоя! Ему очень хотелось, чтобы мать поняла все его трудности и уехала обратно к сестре, но она не понимала. Ласково бормоча что-то, бабушка разложила на столе и на подоконниках пестрые салфетки, выставила пузырьки с лекарствами, розовую, расколотую пополам пудреницу, гребенку, несколько шпилек и устроилась в кресле, готовясь провести так не только лето, но и всю жизнь.

И вот эту тихую голубоглазую бабушку – родную мать мо-

его родного отца – я, одиннадцатилетняя девочка, выгнала из дома! То есть я ее, конечно, не выгнала. Я ей просто объяснила, как трудно живется папе с его бессонницей и как он нуждается в отдельной комнате. Я объясняла ей все это, краснея, торопясь и волнуясь, а она слушала, понуриив ярко-седую кудрявую голову и перебирая оборки своей старинной кофточки маленькими сморщенными пальцами. Когда я закончила, она крепко поцеловала меня и сказала, что, конечно, в первую очередь нужно думать о папином здоровье и о том, чтобы мне было где делать уроки, так что она уедет.

В конце лета она уехала, а через полгода умерла.

О, стыд мой! Подлый грех мой, от которого не отмыться! Я знаю, отчего Нюра, ничего и не слышавшая об этой истории, меня ненавидит! Вот за эту самую старуху, давшую жизнь моему отцу и, стало быть, мне и, стало быть, моей дочери. Я предала родную плоть и кровь, и мне воздалось, мне отомстилось от моей же родной плоти и крови.

Кто это сказал – Достоевский, что ли? – про закон крови на земле? Есть такой закон, точно.

Феликс меня, конечно, бросит, я это давно чувствую, особенно после вчерашнего грудного голоса в телефоне. Сколько ей лет? Тридцать?

**24 апреля.** Мы расстались с Феликсом. Он ушел. Я гляжу в одну точку и вою. Спокойно, спокойно, пиши дальше. Тебя бросил муж, с которым вы прожили двадцать шесть лет.

Случилось это в среду.

Я уже спала, и довольно крепко, так что даже видела сон.

Мне снилось, что я молода и на мне ситцевый сарафан, похожий на те, что носили в пятидесятые. Живу я в каком-то чуть ли не средневековом городе, обнесенном стеной. Город стоит высоко над морем, и на него постоянно нападают соседи. Чтобы обороняться от этих соседей, жители разводят в своем море особых змей – плоских и прозрачных, так что их не видно в воде. В городе запрет: несмотря на то что все, от глубоких стариков до грудных младенцев, знают о змеях, признаваться даже самому себе, что ты об этом знаешь, нельзя. Всякий, кто нарушает запрет, сразу умирает. И вот я, молодая, веселая, в ситцевом сарафане, срываюсь с берега и падаю в море. Змеи окружают меня и обматывают своими волокнами так, что я не могу шевельнуться. Я чувствую, что это конец, знаю, но не кричу и не зову на помощь. Напротив, я изображаю, что мне было жарко и поэтому я решила искупаться.

Проснулась в холодном поту. Феликс стоял в дверях. Плащ и клетчатая кепочка были насквозь мокрыми, значит, шел дождь.

– Мне нужно поговорить с тобой, – сказал он. – Очень нужно поговорить.

И тут – о Господи, вот оно, наступило! – я повела себя как во сне, от которого едва опомнилась. Я забормотала о какой-то ерунде, быстро-быстро и очень дружелюбно, лишь бы не дать ему произнести, лишь бы протянуть время до смерт-

ного приговора. Я бормотала о том, что наш отдел вот-вот откроют, мне уже звонили и скоро я выйду на работу, так что он сможет плюнуть на свои халтуры и заняться любимым делом, я сетовала на то, что Нюра так редко бывает дома и мы почти перестали проводить время втроем, а это – согласись! – так важно, чтобы семья проводила время вместе, и пусть дочь давно выросла, все равно ей нужны родители, и мама, и папа – папа, может быть, чуточку больше, так как девочки вообще сильнее привязываются к отцам, отцовское влияние крепче... Я остановилась наконец, потому что мне не хватило воздуха.

– Наталья, – сказал он в крошечной тишине. – Я встретил другую женщину...

– О, какая дешевка! – завопила я. – Фраза из бульварного романа!

– Фразу я не буду с тобой обсуждать. – Он испуганно взглянул на меня. – Давай поговорим о деле.

Но я уже опомнилась. Надо было немедленно что-то предпринять. Нельзя отпускать его, нельзя!

– Послушай! – пролепетала я. – Зачем же так?

– Как – так? – спросил он.

– Зачем так жестоко? Не бросишь же ты нас, в конце концов! Мало ли что бывает у мужчин на стороне!

– Наталья, – сказал он глупым просящим голосом, – пойми, у меня другая женщина. Я ее люблю, вот в чем дело.

Кровь бросилась мне в голову.

– Какой же ты... – У меня тряслись губы, и слова застревали в горле. – Подонок ты, вот что! Грязный лысый подонок!

– А ты! – вдруг словно бы опомнился он и закричал так громко, что бедный Троль выскочил из-под стола и уставился на нас. – А ты! Что я видел от тебя? Одни муки!

– Муки? – переспросила я. – Это ты-то говоришь про муки? Да вспомни хоть, сколько абортот я сделала, вспомни, через что я прошла! Муки!

– Мне, – закричал он еще громче, – мне твои аборты стоили не меньше, чем тебе! Я этот кошмар вспоминать боюсь! Когда бы я до тебя ни дотронулся, ты тут же начинала причитать, что опять залетела! И потом я вместе с тобой ждал этих чертовых месячных! Всю нашу жизнь я ждал твоих месячных!

– А кто виноват? – Я тоже кричала. – Кто виноват? Я что, от соседа залетела? Это были твои дети! Ты их делал, а потом требовал, чтобы их убивали! И платил за это! Да! Семьдесят рублей в конверте!

– Я уйду, – сказал он. – Чего-то самого главного нет в нашей жизни. Мы с тобой не договорились.

О, это было наше слово! Вернее, мое, которое он потом тоже начал трепать направо-налево! Я ему всегда говорила: «Мы с тобой договоримся» или (в хорошие минуты!): «Договорились?» Это было слово-пароль, и вот он теперь его вспомнил!

– Уходи, – сказала я и сползла на пол, туда, к Троллю, к его родному теплу. – Уходи, пока я тебя не убила. Ненавижу и желаю тебе смерти.

Он отшатнулся от меня.

– Смотри, – сказал он, – себе не накаркай. Знаешь ведь, как это бывает?

– А ты меня не пугай, – ответила я, изо всей силы прижимая к себе собачью голову (а Тролль, любимый, все понимал и только переводил глаза с Феликса на меня). – Не пугай меня, голубчик, поздно...

Он, видимо, взял себя в руки. Все-таки он бросал меня, да еще старую, безработную, выпотрошенную. И уходил к другой, с красивым грудным голосом, наверное, молодой и привлекательной.

– Я оставляю тебе квартиру, – сказал он. – Можешь делать с ней, что хочешь.

– Что? – взвизгнула я. – Ты мне оставляешь квартиру? А что я буду есть в этой квартире? Нашу кровать? Тумбочку?

– У меня нет денег, – ответил он. – Я отдаю тебе все, что у меня есть. – Он вынул из кармана плаща конверт и положил его на стол. – Тебе должно хватить на пару месяцев. А там посмотрим.

– Ты сказал Нюре? – спросила я.

– Нет еще, – ответил он и понурил голову.

Он понурил голову, как мальчик! Как провинившийся мальчишка!

– Я тебе не говорю, – сказал он, не поднимая головы (ах, какой гадкий спектакль!). – Я не говорю тебе: «Прости меня», потому что... Потому что мы сильно виноваты друг перед другом и вряд ли сумеем друг друга простить...

– Да, – сказала я, глядя на него снизу вверх (по-прежнему обнимала Тролля на полу). – Ты сильно виноват передо мной. И я тебя не прощаю.

Он криво усмехнулся:

– Меня прощать... Я с тобой хлебнул – во!

И сделал резкое движение ладонью по шее, словно отсекая собственную голову. Повернулся и ушел в кабинет, закрыл дверь.

Я не могла шевельнуться (точно как во сне со змеями!).

Минут через пятнадцать он вернулся, но уже с сумкой.

– Я сам поговорю с Нюрой, – сказал он. – Прошу тебя не вмешиваться.

Вот и все. Жизнь моя, как сказал поэт, иль ты приснилась мне?

Сказал и повесился. Значит, не приснилась.

Теперь о дочери.

Она странно отнеслась к отцовскому поступку. Через два дня после нашего «развода» (интересно, кстати, собирается ли он оформлять его юридически?) Нюра спросила меня:

– Мама, а вы с папой хоть когда-нибудь, хоть раз были счастливы?

– Конечно, – возмутилась я. – Очень были.

– Врешь, – жестко сказала она. – Не были. Я помню, что вы никогда не хотели больше детей. Я просила братика, а вы отмахивались.

– Не знаю, – сказала я. – Жизнь была непростая, вот и не хотели. Не знаю, не помню.

Все я помнила! Она, маленькая, кудрявая, требовала: «У Оли есть братик, почему у меня нет?»

А мы действительно отмахивались. У нас был формальный предлог: моя первая беременность (не хочу о ней сейчас!) так ужасно закончилась из-за предлежания плаценты. С Нюрой случилось бы то же самое, если бы это предлежание не обнаружили на третьем месяце и не положили меня на сохранение до самых родов. Потом сделали кесарево. Врачи говорили, что такая аномалия всегда может повториться, раз она уже два раза имела место.

Но ведь не боли я боялась! И даже не потери ребенка! Я боялась, что этот ребенок родится уродом и – в отличие от того, первого, – выживет! С каким ужасом взгляд мой выхватывал в метро или на улице детей-уродов!

Как сейчас помню: зима. Из шестого подъезда выходит тихая пожилая женщина (а может, и не пожилая, горе старит). Рядом с ней – девушка в меховой ушанке. У девушки бессмысленное лицо, широко разинутый рот, тонюсенькие ноги и такие же тонюсенькие, дергающиеся руки в варежках. Она что-то мычит, выпуская струйку слюны на подбородок, и мать терпеливо останавливается, вынимает носовой пла-

ток, вытирает струйку... Идут дальше. По снегу, по холоду, среди торопливых пешеходов, которым до этой несчастной, зачем-то родившейся, зачем-то живущей – нет никакого дела!

Всякий раз, увидев их, я думала: а если бы это случилось со мной? О ужас!

Слава Богу, я здорова и молода. Моя Нюра спит на балконе в коляске. У нее не щеки, а яблоки, и ресницы такие густые, что на них, как говорят старухи во дворе, «спичку ложки – не упадет». Зачем же мне рисковать? Чтобы всю оставшуюся жизнь умыться слезами да еще потерять Феликса?

Ах, я не сомневалась, что он сбежит при первом же испытании! Он всегда был предателем, и я всегда боялась, что он меня обманывает, с самого первого дня! Одна моя ревность чего стоила! От ревности мне даже хотелось убить себя, лишь бы сделать ему больно! И один раз – страшный, один-единственный раз! – я действительно обезумела. Мы жили на даче: Нюра, девятимесячная, и я, а Феликс – молодой папаша, великий театральный художник! – бывал там наездами. Мне было скучно с грудным ребенком, быт – тяжелый, однообразный, лето дождливое. Вечерами приходилось топить печку на кухне, чтобы купать Нюру и успеть до утра высушить пеленки. Я просила Феликса как можно чаще приезжать к нам и по возможности ночевать здесь, а не в городской квартире. Он уклонялся и выполнял мою просьбу с большой неохотой.

Я ждала его во вторник, но во вторник он не приехал. Не приехал и в среду. В четверг утром я решила позвонить ему в город и поплелась на станцию под проливным дождем, толкая перед собой громоздкую коляску со спящей Нюрой. Его не было в театре, и я испугалась. Дозвонилась его тогдашнему приятелю, быстро набирающему славу поэту, и спросила, не знает ли он случайно, где мой Феликс. Поэт весело ответил, что Феликс уехал на дачу еще во вторник и собирался пробыть в кругу семьи до пятницы. Я ахнула и тут же набрала наш домашний телефон, хотя никакой надежды застать его дома, разумеется, не было.

– Слушаю, – сказал он.

– Почему ты не на работе? – закричала я. (Было очень плохо слышно!)

– Я зашел на пять минут, – соврал он. – Мне нужно было взять один набросок.

Это, конечно, ложь. Он был в нашей пустой квартире с какой-то бабой, он жил там с нею все эти три дня – вторник, среду и четверг, – понимая, что я не потащусь на электричке с грудным ребенком проверять его, он был абсолютно уверен в себе и в своей власти надо мной, нисколько не любил меня, а женился только потому, что я умоляла.

Заливаясь слезами и толкая перед собою коляску, я вернулась домой, зажгла лампу – о, как неуютно было на этом сыром сером свете! – покормила Нюру и принялась ждать пяти часов вечера. Я знала, что он непременно приедет с пятича-

совой электричкой, и, хотя не представляла себе, что именно сделаю, чувствовала приближение катастрофы. Вместо меня – рук, ног, головы, глаз – полыхала одна раскаленная злоба. В четыре тридцать выглянуло солнце, потеплело, заблестели мокрые деревья, небо стало голубым и доверчивым, в деревне за мостиком заголосил петух, и я – помню отчетливо! – посмотрелась в зеркало, прежде чем идти на станцию. Из зеркала на меня сверкнули чужие дикие глаза, насаженные над искаженной, совершенно неуместной улыбкой. Я взяла Ньюру на руки и заторопилась. Через десять минут подошла электричка, я услышала, как она прогудела и прогрохотала, а еще через пять минут на тропинке, ведущей к дачам через мокрый луг, показались первые пассажиры, торопливо размахивающие своими портфелями и авоськами.

Он увидел, что я иду ему навстречу с Ньюрой на руках, и приветственно поднял руку. Я остановилась, не дойдя до него, и со словами «получай!» бросила ему под ноги ребенка. До сих пор не понимаю, что это было со мной. В глазах сразу почернело, я опустилась на землю. Через секунду зрение вернулось, я увидела, как очень бледный, трясущийся Феликс держит на руках зашедшую в беззвучном крике Ньюру, а вокруг стоят люди. Еще через несколько секунд Ньюрино беззвучие разрешилось непрерывным «а-а-а-а-а!», и Феликс побежал куда-то, даже не оглянувшись.

Незнакомая женщина в косынке наклонилась надо мной и заорала: «Падаль, блядь! Ты чего с ребенком сделала! Убить

тебя мало, падаль!»

Я встала с земли и пошла домой. Я уже не думала и не помнила ни о себе, ни о нем. Я была уверена, что дочь моя умерла, и шла домой, только чтобы убедиться в этом. Я знала, что ни на секунду не останусь жить после ее смерти. Как это произойдет – неважно. Боль была такая, что казалось, будто я не дышу, а глотаю стекло.

Феликс сидел на крыльце, прижимая к себе тихо всхлипывающую Нюру. На меня он не смотрел.

Впоследствии мы никогда не вспоминали об этом. Очевидное потрясение было настолько глубоким, а взаимный ужас настолько острым, что нужно было или немедленно расстаться, или сделать вид, что этого не было.

Точно знаю – он меня не простил. Но вот рассказал ли он Нюре, как я бросила ее, девятимесячную, с размаху на землю?

**28 апреля.** Нюра вышла замуж. Я не шучу. Вчера вечером она позвонила и сказала так: «Мама, не удивляйся, я приду не одна».

Как будто я еще могу чему-то удивиться!

Через полчаса явилась с худым, высоким парнем. На вид лет тридцать. Глаза – мрачные. Густая черная борода, бритый череп. В руках чемодан и гитара.

– Мама, – сухо сказала Нюра, зрочки ее бегали. – Это Ян. Он будет жить с нами. Считай, что мы поженились.

Я прислонилась к стене, ноги подкосились. Парень угрю-

мо сказал «приветствую» и прошел на кухню, словно меня и не было. Она собралась последовать за ним, но я прошипела «иди сюда», и она подчинилась. Не потому, что боялась меня, а потому, что не хотела начинать со скандала. Я втолкула ее в бывший кабинет бывшего мужа и закрыла дверь.

– Это что значит?

– Ничего, – небрежно сказала она. – Что именно тебя интересует?

– Как ты посмела? – задохнулась я. – Немедленно выгони отсюда эту шваль, сию минуту!

– Не подумаю, – громко сказала она. – И не смей со мной говорить в таком тоне.

Я смотрела на нее, она на меня. Лицо ее было похоже на лицо Феликса и так же дышало ненавистью ко мне, жуткой, непонятной ненавистью!

– Ты не должна ни обслуживать нас, ни содержать, – сказала она. – Ян – музыкант, он хорошо зарабатывает. Квартира большая. Папа сюда не вернется.

Последнюю фразу она произнесла с каким-то даже сладострастием, другого слова не подберу. Она отчеканила каждый слог, сделав ударение на «не», словно уход своего отца от меня она, моя дочь, торжествовала как победу.

Тогда я распахнула дверь в столовую и закричала: «Троль!» Он тут же подбежал ко мне, виляя хвостом.

Собака, ты спасаешь меня. Кроме тебя, никого нет.

Нюра вдруг покраснела и погладила Троля (обычно она

не обращает на него внимания! Это – мое, а стало быть, многого не заслуживает!).

– Успокойся, – примирительно сказала она. – Я не обещаю тебе, что мы заживем, как в раю. Но можно обойтись без ада.

**4 мая.** Без ада не получилось. Мой зять, кажется, ненормален. Они с Нюрой ночи напролет занимаются любовью с таким треском, звоном и шумом, что притвориться, будто не слышишь, довольно трудно. Что он с ней делает, не представляю. Потом они оба спят до двенадцати. Музыкант он, как я понимаю, аховый: играет на ударных инструментах. Я сказала, что дома прошу не репетировать, так как соседи заявят в милицию и правильно сделают. Нюра тут же возразила, что до десяти часов вечера можно хоть на голове ходить, никто не смеет и пикнуть. Хозяйничаем мы теперь порознь: у нее свое хозяйство, у меня свое. У меня – овсянка, компотик какой-нибудь, омлет из одного яйца с помидором. У нее – зеленые супы не поймешь из чего и окровавленные ростбифы. Сексуальный маньяк ест как слон, несмотря на свою добычу. Глисты, наверное. Солитеры. Откуда у «молодоженов» деньги, я тоже не понимаю. Вполне возможно, что он и зарезал кого-нибудь, ударник этот. В лице у него, кстати, есть что-то от нового русского, только разорившегося, ушедшего в подполье. Новый русский из неудачников. Неврастеник по Федору Михайловичу.

Что мне до него? Ведь это временная история. Поживут месяц-другой и разбегутся. Любовь от этого союза

не пахнет. А чем пахнет? Ах, Боже мой, опасностью, вот чем! Хмельными деньгами, нечистой совестью. Муть, муть и муть. А может быть, у моей дочери просто бешенство матки? Иначе зачем ей эта горилла?

**8 мая.** Вчера мы с Троллем сбежали на дачу. Я думала провести там праздники, но вечером начался такой дождь и холод, что пришлось вернуться. Печка барахлит, тепла не держит. Несмотря на отвратительную погоду, народ хлынул за город. Все возятся на огородах. Все, кроме меня. Я никогда ничего не умела, никогда моя земля ничего не рожала.

Утром заметила через забор Платонова. Он истощал и зарос.

Сколько лет мы знаем друг друга? Сто лет, с детства. Помню, как он заболел полиомиелитом и у нас в доме началась паника: боялись, что я заражусь. Потом боялись, что он умрет. Но я не заразилась, а он поправился. Одна нога у него так и осталась короче другой. Платонов – фантастический человек, невероятный. Считается, что он математик, но я не уверена, чтобы математика хоть когда-нибудь приносила ему деньги. Окончив университет, Платонов какое-то время работал в школе, но вместе с теоремами преподнес детям несколько уроков опасного вольнолюбия, и его тут же уволили. Потом я надолго потеряла эту семью из виду, дача их стояла пустая, так как родители Платонова одновременно заболели, за городом жить не могли, и он ходил за ними, как нянька. Работал по ночам каким-то обходчиком, а

днем ухаживал за двумя лежачими стариками. Распродавал семейную библиотеку, чтобы кормить их рыночными овощами и фруктами. Один раз я увидела его в букинистическом магазине с авоськой книг. Принес на комиссию. Заметил меня и огненно покраснел от стыда. Потом справился со смущением, обнял меня, обрадовался. У меня уже была пятилетняя Нюра, и жили мы с Феликсом сравнительно мирно, хотя без большой радости. Я спросила Платонова, отчего он не женится. Он усмехнулся, сверкнув золотым зубом сбоку (я тогда первый раз увидела у него этот золотой зуб и поразилась: как старик!).

«Не могу, – сказал он серьезно. – Родители».

Родители вскоре умерли. Один за другим, но каждый на руках у сына. Платонов бросил работу и начал читать. Кроме всего прочего, углубился в эзотерическую литературу и целыми днями просиживал в Ленинке. Жить ему стало абсолютно не на что, и кто-то из друзей посоветовал продать либо дачу, либо квартиру. От продажи дачи Платонов категорически отказался («Трогать нельзя, – сказал он, – детство!»), а квартиру продал. Его, разумеется, надули, да и квартира была очень средней, так что деньги оказались маленькими, и он тут же перевел половину этих денег двоюродной сестре в Архангельск.

Платонов увидел меня, просиял своими наивными, косыми глазами и подошел к забору.

– Ната, – сказал он, – солнышко, ты приехала?

– Ты почему так похудел? – спросила я. – Не жрешь ничего?

– Болею, – грустно ответил Платонов. – Давно, с осени.

– Чем?

– Да неважно, – отмахнулся он. – Идем ко мне чай пить.

В доме у него было тепло, перед иконой горела свечка, книги лежали повсюду, одна даже на плите, правда, незажженной. Он поспешно сунул куда-то эту книгу, поставил чайник, нарезал сыр, хлеб, переложил повидло из банки в стеклянную вазочку и начал нас с Троллем угощать. Троль деликатно съел хлеб с повидлом из платоновской ладони и тщательно вылизал эту ладонь в знак благодарности.

– Чудо, – сказал Платонов и радостно засмеялся. – Собака – чудо. Я бы тоже завел, да боюсь...

Он перестал смеяться и удивленно приподнял брови.

– Чего ты боишься? – спросила я. (На душе у меня стало светло и тихо, словно и там зажгли свечку!)

– Боюсь, что некому будет за этой собакой ухаживать. Мало ли как...

– Да что ты, ей-Богу! – воскликнула я. – Что ты все намекаешь! Что с тобой?

– Ничего, ничего, солнышко, – смутился он. – Показать тебе картинки?

Платонов всю жизнь любил рисовать, хотя никогда не мнил себя художником и никогда никому свои работы не показывал. Исключение он сделал только однажды для нас с

Феликсом. Было это лет двадцать назад, когда Феликс очень удачно оформил пару балетов и ходил с задраннным носом. Помню, как молодой, долговязый и нескладный Платонов, с круглым лицом и добрыми глазами, пришел к нам в какой-то гуцульской войлочной шапочке, долго хвалил Феликсовы декорации, а потом смущенно сказал, что хотел бы посоветоваться насчет своих картинок. Феликс накинул на левое плечо замшевую куртку (привез из Болгарии!), закурил трубку, и мы пошли смотреть картинки.

Я, конечно, сразу увидела, что Платонов не большой мастер. Писал он в основном пейзажи, но не реалистические, не с натуры, а то, что представлялось воображению. На пейзажах были диковинной синевы моря, причудливые горы с пронизанными солнцем вершинами, розовые фламинго, желтые, как хорошо заваренный чай, пустыни. И все же мне было приятно смотреть на эти полотна, потому что они напоминали самого Платонова.

Но Феликс! Он его уничтожил. Правда, дружески и от чистого сердца.

– Коля, – сказал Феликс, пыхтя трубкой, как Гайавата. – Ты хочешь, чтобы я тебе подпевал, или ты хочешь правду?

Платонов смутился до того, что на глазах его выступили слезы.

– Так вот, – продолжал мой безжалостный муж. – С точки зрения живописи это мазня.

– Я понимаю, – поспешно сказал Платонов, – но я думал,

что с точки зрения...

– Другой точки зрения нет, – отрезал Феликс. – Вопрос лишь в том, предрасположен ли человек к тому, чтобы писать маслом на холсте. Или ему лучше заняться чем-то еще...

– Я понял, – пробормотал Платонов. – Это ведь для себя...

– Для себя – пожалуйста, – смиловался Феликс. – Для себя это совсем неплохо, особенно морские куски...

Троль, Платонов и я поднялись на второй этаж по темной скользкой лестнице и вошли в комнату, которую Платонов называет мастерской. Все ее стены завешаны картинами. Не берусь судить с «точки зрения живописи», как говорил мой бывший, но, кажется, одна вещь точно удалась. Ни гор, ни морей на ней не было, а было семь всадников в черных капюшонах. Всадники медленно двигались, но не по ровной поверхности, а словно бы забирая вверх, к невидимому небу. И люди, и лошади были почти бесплотны. За спинами у всадников торчали приклады, головы в черных капюшонах были низко опущены, а лошадиные морды, напротив, высоко и тревожно задраны, словно лошади чуяли впереди опасность.

– Молодец, – сказала я. – Как называется?

– Это называется, – замялся Платонов, – «Дорога на Страшный суд».

– Так это – мертвые? – спросила я. – Дорога-то после смерти?

– В общем, да, – сказал он. – Я, собственно, это имел в виду.

И тут я разрыдалась и закашлялась.

– Коля, – сказала я. – Миленький! Я с ума схожу.

Платонов испугался. Первым движением его было прижать меня к груди, но он остановился на полдороге.

– Ната, – спросил он осторожно, – что с тобой?

– Да что! – Слова расцарапали мне горло. – Что со мной? Никого нет – раз, старость пришла – два, смерть не за горами – три! Мало?

Он хотел что-то сказать, но не решился.

– Если ты мне посоветуешь верить в Бога, или надеяться на лучшее, или еще что-то в этом роде, – я повысила голос, словно Платонов был виноват в моих несчастьях, – если ты мне что-то подобное скажешь, я сейчас же уйду!

– Но в Бога действительно нужно верить, – прошептал Платонов. – Иначе что же?

– Ах, я не знаю! – закричала я. – Только ты мне не устраивай сцену из романа «Братья Карамазовы»!

– Когда писались «Братья Карамазовы», – сказал он, – овец не клонировали и младенцев не выводили в пробирках. Времена были невинными...

– Каких овец? – простонала я.

– Ну, как? – задумчиво сказал он. – Тех, которые тоже будут на Страшном суде. Вместе с экспериментаторами. Ната! Ты что, не видишь, какое подходит Время? (Пишу слово

«Время» с большой буквы, именно так он произнес!)

– Время – чего? – спросила я.

– Я думаю, конца света, – ответил Платонов. – А как же иначе понять эти приметы?

– Коля! – вздохнула я. – Что ты, ей-Богу! Поговори со мной просто!

– Но, Наточка! – испугался он и затряс бородой. – Куда уж проще! Вот ты говоришь «моя жизнь» или «его жизнь», а ведь отдельно от общей жизни ничего нет! А скажи мне: что произошло с общей жизнью в нашем веке и почему я лично думаю, что скоро конец?

– Что произошло? – спросила я.

– В нашем веке впервые появилась цена. – Он ярко покраснел и запнулся. – Цена на человека.

– Не поняла, – удивилась я. – А во времена крепостничества?

Платонов замахал руками:

– Да при чем здесь деньги! Это другая цена! В нашем веке впервые пришло в голову использовать человека как материал, понимаешь? Использовать его телесно, извлекать пользу из его кожи, волос, костей! Вот я о чем! Ведь что делали немцы в лагерях? Ты скажешь: массовые убийства, камеры, холокост! Да, да, да! Но ужас в другом! Массовые убийства были и до немецких лагерей! Но посмотреть на человеческую кожу, как на кожу крокодила, из которой можно сделать сумку, – вот этого не было! Вот куда пробрался дьявол!

Платонова колотила дрожь.

– Ната, – простонал он и схватился обеими руками за голову. – Ната! Он подбирался к нам долго-долго, то с одного боку, то с другого, но никогда, ни в одной цивилизации ему не удавалось того, что нынче!

Я уже жалела, что начала этот разговор. У меня на него нет ни сил, ни здоровья. Тролль уловил мое настроение и посмотрел вопросительно. «Уходим? – сказал его взгляд. – Или еще побудем?»

– Все! – кричал седой и заросший друг моего детства, с которым мы лет пятьдесят назад ели незрелый крыжовник и играли в прятки. – Они скоро начнут выводить людей! Я читал, что в одном корейском университете уже начали такое клонирование! Они уже поместили человеческую клетку в пробирку, и она принялась развиваться! Тогда они ее уничтожили, потому что еще не знают, что с этим делать! Но скоро они узнают, скоро они узнают! Хотят отнять у человечества самую великую тайну! Тайну жизни и смерти! Но без этой тайны мир перестанет существовать! Он рухнет! Ты понимаешь? Любой идиот, у которого есть деньги и который больше всего на свете боится физической смерти, сможет заплатить, и для него выведут живое существо, в точности повторяющее его генетику!

– И что? – спросила я.

– Как – что? – расширил глаза Платонов. – Как – что, Ната? Ты понимаешь, как это делается? Берут одну клетку и

удаляют из нее всю генетическую информацию, потом берут другую, сохраняя информацию, – и соединяют их! И вживляют это соединение куда угодно: в женщину, в пробирку! Получается существо! Человек! Но он заказан другим человеком на случай пересадки сердца, например! Или почек! Потому что его генетика точно повторяет генетику заказчика! Ты чувствуешь идею?

– Ну? – спросила я. – Чем это отличается от опытов доктора Фаустуса?

– По большому счету – ничем, – ответил Платонов. – Но ты ведь помнишь, кто пришел к доктору Фаусту?

– Ах, Коля, – усмехнулась я (мне хотелось свести все к шутке). – Я, например, к тебе пришла чаю попить, а ты меня пугаешь...

– Ничего нет, – умоляюще сказал Платонов, не слушая. – Солнышко мое! Ничего нет дороже жизни! Маленькой жизни! Не только человеческой, а вообще! Вот ты посмотри на него, – и он быстро дотронулся до головы Тролля дрожащей ладонью, – ведь тебе не важно, как он называется: собака, кошка, хорек! Ведь ты любишь конкретно его! И ты не согласишься, чтобы из него сделали шапку!

...Мне вдруг вспомнился летний день. На ладони у меня неподвижно лежит толстая, словно бы меховая серая бабочка. Мы с Платоновым – оба семилетние – смотрим на эту бабочку и ждем, пока она оживет. Но бабочка не шевелится, значит, умерла.

– Положи ее сюда, под дерево, – просит Платонов. – Здесь будет ее могила. Жаль, она была совсем молодой.

Я кладу мертвую меховую бабочку под дерево, и Платонов накрывает ее листком.

Потом мы забираемся в недостроенный сарай, где темно и прохладно, стоит верстак, с которого свисают локоны вкусно пахнущей стружки... Издалека доносится голос точильщика: «Точить ножи-ножницы! Точить ножи-ножницы!» Я боюсь этого точильщика, худого старика с тяжеленным колесом на плече, из которого сыплются искры.

– Мы не вернемся домой, – вдруг говорит мне маленький Платонов, – если они не дадут нам честного слова никогда никого не обижать. Ни детей! Ни кошек, ни мух, ни гусениц, ни вообще никого!

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.